

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Институты, индивиды и отношения в процессе модернизации

Д. В. Трубицын

Забайкальский государственный университет (Чита, Россия)

Анализируются аргументы сторон в дискуссии о роли институтов в возникновении современного роста и выявляются существенные недостатки как институционализма, так и его критики. К ним относятся: стремление остаться в рамках экономики как «чистой» эмпирической науки, хотя междисциплинарный характер проблемы модернизации, социологическая и социально-философская принадлежность этой теории требуют выхода на междисциплинарный и метатеоретический уровень; рассмотрение модернизации в конечной стадии (формирование институтов и переход к современному экономическому росту), тогда как необходим анализ социальных трансформаций на ее ранних этапах — в период появления городов как центров ремесла и торговли, расширения городских рынков, роста влияния и независимости торгово-ремесленного класса; ограничение теории понятиями «экономический рост» и «институты». Необходимо вернуть категории «социальные отношения» значение, какое ей придавалось в марксистской экономической теории. Если речь идет об описании долговременных исторических трансформаций, чем и является модернизация, то его вытеснение из экономической мысли и замещение «институтами» неэффективно: понятия «структуры/отношения» и «институты» не идентичны.

Ключевые слова: модернизация, экономический рост, институты, социальные отношения.

JEL: B52, O43, O44, P16, P17.

Проблема происхождения современного экономического роста остается одной из наиболее актуальных. Как показала полемика вокруг работ Д. Норта, Дж. Уоллиса и Б. Вайнгаста (2011), а также Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона (2016), она тесно связана с вопросом о роли *институтов* в экономической динамике. Критика в адрес

Трубицын Дмитрий Викторович (dvtrubitsyn@yandex.ru), д. ф. н., проф.
Забайкальского государственного университета

этих ученых, ее интенсивность и эмоциональный фон показывают, насколько научное сообщество далеко от согласия в данном вопросе. Оттолкнемся от этой критики, чтобы путем сопоставления двух точек зрения показать важные упущения, им свойственные.

Первое упущение — попытка решить поставленную проблему, находясь исключительно в сфере экономики как эмпирической науки, без выхода на уровень метатеории. Опыт показывает, что абстрактные рассуждения по поводу онтологического статуса институтов и экономического роста полезны. Пример подобных исследований, результаты которых критически использованы в данной работе, — труды Дж. Ходжсона (2007, 2008). При этом мы не утверждаем, что такие рассуждения должны быть оторваны от фактов; сказанное означает лишь, что они — необходимая часть анализа, прояснение понятий, без которого нельзя начинать построение теории.

Как это проявляется в споре с институционалистами? Да, для устойчивого продолжительного роста необходимы институты, согласие в этом большинства экономистов не случайно. Но в развитии они не первичны. При размышлении о появлении современной экономики, а не о ее текущей динамике, правота институционалистов оказывается не столь очевидной. Это показал в своей работе Р. Капелюшников (2019), который также отметил, что институционалистам склонны доверять «чистые экономисты», а сомневаются в их теориях экономисты-историки. Прежде всего так обстоит дело потому, что первые занимаются современной экономикой, а вторые — ее становлением. Но есть и методологические различия, существенные для данного вопроса. Для первых экономика считается номотетической наукой в значительно большей степени, чем для вторых. История же развивалась преимущественно как индивидуализирующая наука, отягощенная отсутствием надежных данных, коими располагают экономисты, изучающие современность. Это делает историков менее доверчивыми. Работая с разрозненным, подчас неоперационализируемым и слабоверифицируемым материалом, они оказываются более чуткими к фактическим неувязкам проверяемых положений. Поэтому они выявляют проблемы институционализма: отмечают узость эмпирической базы — соответствующую логику развития событий подтверждают не все страны, обнаруживают факты наличия институтов и отсутствия роста, и наоборот — отсутствия институтов и наличия роста, например, не находят явных сдвигов в становлении институтов в периоды экономических подъемов в Англии, Франции и Германии (Crafts, 2005; Deakin, 2009; McCloskey, 2016; Арсланов, 2016).

Свидетельствует против институционализма историография за пределами данного спора, к примеру, японская. Уже в XIV–XVI вв., задолго до революции Мэйдзи, «стал возвышаться энергичный плебейский класс, были заложены экономические основания утонченной культуры, до сих пор составляющей часть ниппонской жизни» (Акияма, 2003. С. 435). Не отстает историческая социология: «Экономическое развитие Японии после Реставрации Мэйдзи было не внезапным скачком, а продолжением экспансии долгосрочного роста рыночных структур» (Коллинз, 2015. С. 347). Поэтому сказанное критиком в отношении

Англии — о том, что Славная революция не столько новация, сколько продолжение векового тренда (Капелюшников, 2019. С. 66), — стоит отнести ко всем странам, пережившим такую трансформацию.

Однако есть претензии и к критикам институционалистов. С одной стороны, Капелюшников напоминает им о теории модернизации, которую они не принимают в качестве удовлетворительной модели, использует ее аппарат, противопоставляя «современной» экономике «доиндустриальную», и правомерно, поскольку эти понятия отражают развитие, а не динамику в рамках исторически однотипной модели. С другой стороны, он сужает этот процесс до перехода от «мальтузианского» и «смитианского» экономического роста, чередование которых, по его мнению, характерно для доиндустриального общества, к «шумпетерианскому» (Капелюшников, 2019. С. 28–29). Между тем процессы, не затрагивавшие институты и не отразившиеся в росте, шли задолго до этого. Проблема обеих сторон дискуссии в том, что понятий «институты» и «рост» недостаточно для адекватного анализа.

Критик, как и его оппоненты, пытается решить проблему в дискурсе «чистой» экономики, расширяя понятие «рост» за счет выделения его типов — мальтузианского, основанного на росте населения, смитианского, основанного на разделении труда, расширении рынка и накоплении капитала, и шумпетерианского, основанного на непрерывном потоке инноваций (Капелюшников, 2019. С. 28). На первый взгляд, это добавляет в познавательную схему недостающий качественный анализ — для смитианского, а тем более шумпетерианского роста нужна иная социальная структура, нежели для мальтузианского. Но задача все равно не решается, так как понятия эти отражают нечто свершившееся. Причина трансформации остается неизвестной.

Эта проблема носит дисциплинарный характер. Удобная для экономистов работа с фиксируемым цифрами ростом переносится на исследование исторического развития, в результате чего страдает анализ качественных изменений. Пример — лекция К. Сонины, важным эпизодом которой был слайд «две страны», отражавший сравнительную динамику ВВП Аргентины и Швеции за прошедшее столетие¹. С точки зрения «чистой» экономики претензий нет: цифры и современное состояние двух стран показывают огромное значение долгосрочного роста. Если, по мнению ученого, в начале периода эти страны ничем существенно друг от друга не отличались, то по его окончании они принадлежат разным мирам. Но с позиции исследователя трансформационных процессов возражения есть, поскольку в начале XX в. эти страны были не одинаковыми по социально-экономической структуре: в одном случае это аграрно-сырьевая экономика с господством крупного землевладения, в другом — индустриально-аграрная с широким товарным рынком и преобладанием в аграрном секторе фермерского хозяйства. Эта разница, не фиксируемая в «чистой» экономике, и стала причиной последующего различия в темпах роста. Социологам известно, что первый тип взаимодействия генерирует

¹ Константин Сонин. Экономика долгосрочного роста. Заключительная лекция цикла «Экономические истории», 21 декабря 2015. <http://economyfaculty.gaidarfund.ru/articles/2495/tab1>

вертикальные властные структуры, второй — горизонтальные договорные, в перспективе порождая различия в ценностях и нормах. Возникает механизм самоподдерживающейся тенденции, замедляющий одни процессы и ускоряющий другие.

В остальном различий не было, кроме того, что одна страна была католической, а другая — протестантской². Обе были региональными лидерами, обе получили преимущества от конъюнктурных изменений после Первой мировой войны, в обеих шли либеральные реформы. Повторим: сказанное не опровергает пафоса лекции о значении долгосрочного роста безотносительно к его факторам, но вопрос о конечной причине различий в уровне развития требует выхода за пределы сопоставления динамики ВВП.

Что же касается проблемы модернизации, то ее решение в «чистой» экономике невозможно уже потому, что сама теория модернизации — не экономическая. Она вынашивалась в европейской социальной философии нового времени и была сформулирована в социологии XX в. как попытка объяснить генезис современного общества, а не только экономики. Использование ее терминологического аппарата требует анализа социальной трансформации более широкого охвата.

Но в целом критики институционализма правы в том, что причины этой трансформации нельзя сводить к появлению институтов. Верно и то, что институционалисты, несмотря на либеральные предпочтения, оказываются «государственниками». При постановке вопроса о происхождении современной экономики данное учение оборачивается политическим детерминизмом, так как главным институтом его сторонники считают государство: «Все изменилось после Славной революции: государство создало систему институтов, которые стимулировали инвестиции, инновации и торговлю» (Аджемоглу, Робинсон, 2016. С. 143). Однако институциональные новации остались бы не у дел, не найдись в достаточном количестве акторы, способные и желающие ими воспользоваться. А выполнение данного условия — не заслуга государства. Но особенно показательна история политически децентрализованных стран (Италии, Швейцарии, Германии), а также случаи, где и когда государство оставалось *одним из* игроков. В условиях режима «сильных домов» в Китае, например, несмотря на отсутствие государственной монополии на легитимное насилие и даже в условиях междоусобных войн, процессы приватизации заходили дальше, чем в периоды «сильного государства».

Оспаривался институционализм и раньше. Исследования С. Липсета (1994) показали, что капитализм выступает необходимым, но не достаточным условием демократии. Не наоборот. Даже относительно европейской истории многие ученые склонны считать, что полити-

² Разница существенна, но не первична. Попытку М. Вебера обнаружить обратную связь трудно считать успешной в силу серьезной критики в ее адрес (Л. Брентано, Х. Гроссман, Й. Шумпетер, Р. Коллинз, П. Друкер и др.) и сказанного самим Вебером: «Мы не склонны защищать нелепый доктринерский тезис... будто капитализм как хозяйственная система является продуктом Реформации. Уже то, что ряд форм капиталистического предпринимательства значительно старше Реформации, показывает несостоятельность данной точки зрения» (Вебер, 1990. С. 106).

ческие изменения не предшествовали экономическим и социальным, а следовали им. История колониального Востока и вовсе показала зависимость результатов введения институтов от множества факторов и прежде всего — от уровня развития самих обществ к началу колонизации.

Институционалисты решают эту проблему усложнением теории случайностью: нужно, чтобы совпали многочисленные факторы. Так, по их мнению, произошла Славная революция. Однако случайности такого масштаба сомнительны. В ходе политической борьбы приходят к власти разные силы, их нововведения могут быть случайны. Но широкая социальная поддержка новации, будь то идея, институт или технология, не случайна. В методологическом аспекте здесь и происходит переход от понимания истории как уникального явления (история как индивидуализирующая наука, поприще «идиографистов» в «споре о методах» — В. Виндельбанда, Г. Риккерта, В. Дильтея) к истории как закономерному процессу (номотетическая наука, цель которой — выявление законов; позитивисты, К. Гемпель). В онтологическом смысле этот момент соединения «двух историй» наступает, когда *случайные* идеи и новации поддерживаются широкими социальными слоями *закономерно*, поскольку соответствуют *потребностям* большого количества людей. Именно одинаковые для всех обществ базовые потребности делают возможным изучение их истории генерализирующими методами.

Поэтому поиск «черных лебедей» при изучении широкомасштабных исторических процессов представляется малоперспективным. Даже если *doorstep conditions* — дверной проем — очень узок, то попадание в него миллионов людей — экономических агентов не случайно. В противном случае изучать их — обнаруживать в них повторяемость и систему — было бы нельзя. Как ни странно, в такое положение попал и Капелюшников, внезапно оказавшийся в позиции агностицизма: «Разнообразие путей исторического развития слишком велико, чтобы укладываться в какую-либо унифицированную логическую схему» (Капелюшников, 2019. С. 26). Как же можно было применять дефиниции, ставшие попыткой создания такой «унифицированной логической схемы»?

Капелюшников высказывается о других факторах модернизации — культуре и идеях. Относительно первой согласимся, что «гипотезу культуры» опровергают и Аджемоглу и Робинсон, и сами исследователи культуры: «Культурный детерминизм — идея, что культура пересиливает прочие факторы и диктует траекторию, по которой общество с неизбежностью будет следовать, — нежизнеспособен» (Харрисон, 2016. С. 54). Однако относительно идей есть сомнения. Яркие высказывания А. де Токвиля, Дж. М. Кейнса, Ф. Хайека о значении идей не доказывают их главенствующую роль в исторической динамике. В экономике, как и в социологии, изучается область действительности, в которой люди в среднем поступают одинаково. Капелюшников пишет, что история дает бесчисленное множество примеров того, когда источником перемен выступали идеи (Капелюшников, 2019. С. 14). Но история дает примеры чего угодно, причем как чего-то одного, так

и прямо противоположного, и без дополнительного анализа они могут стать «доказательством» любой теории³.

Но Капелюшников отстаивает «идеализм», заявляя, что у нортианцев «все поставлено с ног на голову». Не жалуется он и марксизм и даже сходство с ним воспринимает негативно. Однако нет ничего плохого в том, что современная теория напоминает «подновленную редакцию учения о базисе и надстройке». Она должна лишь подтверждаться фактами в массовом, допускающем возможность применения обобщающих методов порядке. Идеологический сдвиг XVIII в., пишет Капелюшников, мог стать силой, которая подтолкнула к переходу от мальгузианского к шумпетерианскому росту, от авторитарного правления к демократии (Капелюшников, 2019. С. 20). Но идеологические сдвиги большого масштаба не происходят сами по себе, и будет сложно доказать, что конкретно этот не стал результатом предшествовавших социальных трансформаций. В любом обществе есть набор идей широкого спектра (а если нет, они могут быть заимствованы), но господствующими становятся те, что соответствуют господствующим социальным структурам. Только под структурами здесь понимаются не институты, а нечто другое. В целом же «новые идеи возникают, когда меняется классовая структура и складываются новые внешние основы интеллектуальной жизни» (Коллинз, 2002. С. 242).

Но если не институты, не культура и не идеи, не случайность, то что? Ответ существует давно: это *социальные структуры*, или *отношения*. Те самые, что считались «субстратом общества», который нельзя увидеть или услышать, но тем не менее объективно существуют и определяют его историю. Однако понятие это придется реанимировать, так как в момент кризиса советской историко-экономической мысли оно было отброшено вместе с марксизмом. В экономическом дискурсе его заменило понятие «институты», и в чем-то правомерно. Но как раз в том смысле, что связан с объяснением исторических трансформаций, эту замену удачной назвать нельзя. Некоторые ученые проблему видят: «Экономическая теория нуждается в социологии, поскольку индивидуальное поведение всегда опосредовано социальными отношениями» (Agrow, 1994. Р. 5). В то же время привлечение социологии означает серьезную работу с понятийным аппаратом — здесь и необходим метауровень, который покажет, что отношения/структуры не суть институты.

К. Маркс объяснял общество через систему экономических отношений, специфика которых в том, что они существуют объективно и реально, хотя их нельзя обнаружить физически. На этой идее строился весь исторический материализм — объективность этих отношений и тот факт, что в них удовлетворяются базовые потребности, позволила объявить

³ Капелюшников критикует пример Северной и Южной Кореи, заявляя, что расхождение в путях экономического развития между ними было вызвано различиями не в институтах, а в идеях (Капелюшников, 2019. С. 16). Пример не подходит ни тем, ни другим, поскольку эти идеи и институты возобладали в результате вмешательства извне — в небольшой стране были задействованы силы колоссальных по мощи и ресурсам держав. Подобные феномены не могут служить объектом изучения естественно протекающих процессов. Факты же, опровергающие «идеализм», серьезны: идеологически Германия с начала XIX в. до конца Второй мировой войны противостояла «западному либерализму и рационализму», при этом бурно развиваясь экономически, как и нынешний Китай.

их «материальными», в то время как все остальное, в той или иной мере зависящее от «духа», а значит субъективное, стало в его учении «идеальным». Учение активно критиковалось, в чем-то справедливо, но это не значит, что его теоретическая предпосылка была неверна. Дело в том, что эти отношения и правда существуют до каких бы то ни было институтов и выступают определяющими по отношению к ним.

Оттолкнемся от различия между формальными и неформальными институтами. В некоторых трактовках отношения сливаются с неформальными институтами, но это неверно. Отношения — это еще более неформальные «институты», или «институты», которые присутствуют в вариантах поведения, но не обязательно в разуме. Институты есть в разуме всегда: это оформленная в культуре и/или праве система отношений. В качестве примера неформального института часто приводят «живую» очередь. При этом очередь на получение места в детском саду — уже формальный институт. Но что заставляет человека становиться в очередь вообще? Ведь всегда есть альтернатива — силой получить желаемое первым. Эти два варианта — сила и договор (очередь есть договор) существуют объективно, и человек как субъект выбирает, но из существующих возможностей. Люди либо делят поровну добычу, вступая в равноправные отношения, либо один забирает все себе, навязывая свою волю другим. Существенные для данной области связи, возникающие в результате следования этим стратегиям, и являются отношениями. В социологии и социальной философии предлагается их классификация, мы уделим внимание этой паре, непосредственно связанной с модернизацией.

Данные альтернативы существуют независимо от человека, он не может не выбирать: если он нуждается в пище, ему придется ее либо добыть самому, либо отнять, вступив в те или иные отношения. Этимология слова «институт» (лат. — «учреждение») указывает на то, что в их возникновении задействована человеческая воля. Различие это видели античные философы, отделившие то, что «по природе», от того, что «по человеческому установлению». Второе — законы/номосы — и есть институты. Те же философы (Демокрит, софисты) показали, что первое устойчиво и необходимо, а второе неустойчиво и ненадежно. В более поздней философии было также показано, что отношения могут быть природными и социальными. Но и те, и другие первичны по отношению к «человеческим установлениям».

Именно это имел в виду Вебер, когда писал, что капитализм — «чудовищный космос, в который каждый человек ввергнут с момента рождения... Индивид в той мере, в какой он входит в рыночные отношения, вынужден подчиняться нормам капиталистического поведения» (Вебер, 1990. С. 76). Как видим, объективность отношений подчеркивалась не только в историческом материализме, но и его у влиятельнейшего критика начала XX в. Наконец, в социальной теории второй половины XX в. утверждалось, что «для конкретного актора социальная структура всегда существует до его взаимодействия с миром» (Bhaskar, 1979. P. 36).

Однако «абсолютно объективного» в обществе нет, практически на все так или иначе влияет воля человека. Поэтому нужна не дихотомия,

а шкала. Максимально объективной реальностью, насколько это возможно в обществе, экономические отношения делают *базовые потребности*. Сложившиеся в результате той или иной стратегии их удовлетворения отношения — более фундаментальная реальность, чем институты. Последние «учреждаются» на основе господствующих отношений, когда какие-то из них люди считают важными настолько, что их нужно формализовать. Отношения господства и подчинения, например, существуют и до, и вне государства, равно как война и насилие возможны и без армии. Сексуальные отношения учреждать не нужно, они «по природе», тогда как брак — институт, где-то формальный, где-то нет. Рыночные и собственнические отношения учреждать также не нужно, они существуют объективно — у человека есть стремление не утратить принадлежащее ему, а если обменять, то на что-нибудь не менее ценное. А вот *институт* частной собственности и рынки необходимо учреждать, формально или неформально, если только общество достигнет согласия в том, что реализуемые в них отношения полезны и/или распространены настолько, что необходимость их признания стала очевидной. Не все отношения формализуются: личная привязанность, дружба сопровождают человечество всю его историю, но так и не обрели, за исключением некоторых культур, институциональное оформление.

Однако экономисты, в отличие от философов и социологов, не склонны разделять институты и отношения. Это объяснимо: противопоставлять их требуется не всегда. Для исследователя современной экономики они сливаются — институты поддерживают отношения и репродуцируют их, индивиды им следуют. Ходжсон, исследующий взаимодействие индивидов и институтов, также не стремится разводить институты и отношения, называя их «структурами». Однако для выявления причин возникновения современной экономики важно, как они соотносятся друг с другом. Наверное, поэтому они разделяются в исторической социологии. Р. Коллинз признает необходимость институтов — «капитализм не становится полноценной системой, пока не собран особый состав социальных институтов», — но не считает их появление первичным: «Французская революция происходила в обществе, в котором уже стали преобладать капиталистические структуры» (Коллинз, 2015. С. 346, 395).

Необходимость различения институтов и отношений показывают рассуждения Ходжсона об эволюции: «В гипотетическом „естественном состоянии“, после которого появились институты, уже существовали правила, структуры, культурные и социальные нормы» (Ходжсон, 2008. С. 46). Некие структуры существуют до институтов и определяют их, и они не суть нормы, за которые ответственна культура. В другой работе он справедливо утверждает, что социальные институты — это элемент более общего понятия социальной структуры, причем «не всякая социальная структура является институтом — структуры могут содержать множество отношений, которые не кодифицируются» (Ходжсон, 2007. С. 29, 30). И все же делает выводы, с которыми трудно согласиться. Во-первых, «не найти различия между структурой вообще и институциональными структурами», во-вторых, «институты — это системы устоявшихся правил, структурирующие социальные взаимодействия» (Ходжсон, 2007. С. 30, 42).

Отношения отличаются от институтов, даже неформальных. Если считать, что неформальные институты включают отношения, то понятие «институт» охватывает практически всю социальную реальность, а направление действительно становится «панинституционализмом». Этого нельзя допускать не только потому, что понятия такой степени обобщения, неизбежные в философском дискурсе, не позволяют проводить собственно научные исследования. Безграничное расширение приведет к еще большим проблемам: понятие придется распространить на естествознание, назвав институтами сообщества животных, или увидеть собственность в охраняемой хищником территории. Но заметим: и в живой природе существование этих прототипов человеческих институтов не отменяет наличия отношений (взаимовыгодных, нейтральных, враждебных), оказывающихся иной реальностью, нежели эти формы их организации.

Разумеется, разделить их непросто, как непросто отделить рыночные отношения от института рынка, а институт брака — от сексуальных отношений, которые иногда называют «брачными», отождествляя две реальности. Ходжсон считает это невозможным, мы — лишь трудностью, хотя и немалой. В данной работе эта проблема не решается полностью, но показано, что сделать это полезно. Заметим также, что разделение неформальных институтов и отношений в данном случае не столь важно, так как сами институционалисты имеют в виду *формальные институты*: именно они возникли в результате Славной революции и открыли путь к богатству и процветанию тем, кто ввел их в своей стране.

Другое различие: социальные отношения не обнаруживаются физически, тогда как институты «осязаемы» — можно прочесть закон или сходить на рынок. Поэтому институты — не только «оформленные» структуры, но и «материализованные». И будучи таковыми, они не могут быть первичными по отношению к структурам, повторим, *в развитии*. В рамках динамики исторически однотипной модели второе утверждение Ходжсона верно: институты, «оформляя действия людей и делая их предсказуемыми, упорядочивают мышление, ожидания и деятельность индивидов» (Ходжсон, 2007. С. 29). Но вспомним, какой вопрос интересует автора: как и почему институты поддерживаются людьми? Он пишет о привычке, но если разделять отношения и институты и ставить вопрос о развитии, то ответ иной: институты утверждаются и поддерживаются в силу *объективной востребованности структурами*. Институты соответствуют господствующим отношениям, в то время как последние складываются из преобладающих стратегий поведения. Рыночные институты учреждаются, если нуждающиеся ищут работу или создают бизнес, а доминируют в таком обществе договорные отношения. Если люди ищут службы/поддержки у государства, жалуются, нищенствуют, то в обществе доминируют иные отношения, институты учреждаются иные.

Сильный аргумент против отношений — в отличие от институтов они не дают возможность получить о них проверяемое знание. В радикальной трактовке они не существуют вообще, во всяком случае, для науки, поскольку не обнаруживаются эмпирически. Однако наука нередко имеет дело с реальностью, видимой лишь через проекцию или

отражение (психология, вирусология, астрофизика). Отношения не обнаруживаются непосредственно, но отражаются в ценностях, фиксируемых социологически. И изучающие модернизацию экономисты к ним апеллируют. Е. Ясин основывает суждения о российской модернизации на социологических данных: «В 1990-е годы произошли сдвиги в пользу ценностей, полезных для модернизации (переменные „интеллектуальная автономия“ и „мастерство“), а в 2000–2005 гг., напротив, стали расти переменные „иерархия“ и „принадлежность“» (2007. С. 27). Фактически это и была трансформация системы отношений — от договорных к властным, отраженная в динамике ценностей. Заметим, что строительство институтов тогда шло в целом в сторону модернизации, наблюдался и экономический рост. Не потому ли в исследованиях модернизации фиксируется трансформация ценностей, не коррелирующая ни с ростом, ни с динамикой институтов, что в «чистой» экономике, ограничившей себя этими переменными, важная часть действительности не видна?

Как соотносятся отношения и институты в появлении нового? Полезны усилия Ходжсона, отсеивающего неверные, с его точки зрения, теории взаимодействия индивидов и институтов. Среди них оказывается игровая аналогия Норта: «Если описывать возникновение институтов при помощи игр, некоторые ограничения приходится вводить в модель заранее. Без них не существует самих игр, а потому теория игр не сможет объяснить изначальные, элементарные правила» (Ходжсон, 2008. С. 46). Во-первых, опять видим, что еще до институтов существуют структуры, на основе которых они строятся. Во-вторых, теория игр не годится для объяснения происхождения институтов, но по другой причине. Институты происходят из системы отношений, а те — из *объективных потребностей* через стратегии их удовлетворения. Поэтому о правилах игры надо договариваться — она не связана с жизненными потребностями, это то, что мы делаем свободно (Й. Хейзинга). А по поводу «правил» выживания договариваться изначально не нужно. Никому не надо объяснять, даже первобытному человеку в «естественном состоянии», зачем нужны пища и безопасность и что произойдет, если эти потребности не удовлетворить. И только с переходом от естественного способа их удовлетворения к социально-дифференцированному появляется необходимость их публичного регулирования. Здесь и возникает институт. Норт делает ту же ошибку, что и Й. Хейзинга, объяснявший дефиницией игры человеческую культуру. Он делает это с экономикой — наименее свободной областью деятельности, тогда как игра — свободна. О том, что лишает экономическую деятельность свободы, речь пойдет ниже.

Вместо игры Ходжсон предлагает *привычку* как психологический механизм, создающий основу поведения, соответствующего правилам. При этом он не отрицает важность целеполагания, но помещает его «в более широкий контекст произвольного поведения» (Ходжсон, 2008. С. 54). Рациональные целенаправленные действия находятся в контексте привычек, а не наоборот. Налицо психологизация экономического поведения, игнорирующая важное обстоятельство: стратегии поведения укореняются не свободно.

Если бы речь шла не об экономике, то эти утверждения были бы в основном верны. Работа Ходжсона — полезная социологизация экономической науки, но нельзя полностью переходить на позицию социологии, для которой любое социальное действие нейтрально. Экономическая наука зажата в тиски ключевого противоречия — ограниченности ресурсов и неограниченности потребностей. Именно потому в ней строже и четче устанавливаются законы. Если социолог в ряде случаев может «оторвать» общество от его экономической основы и рассматривать взаимодействия вне каких-либо предустановленных шкал или осей динамики, позволяющих зафиксировать «правильность» действий акторов, то экономист делать это не вправе. Такая «беспредельная» социологизация применима в отдельных исследованиях, в частности, при изучении спроса на потребительском рынке, где привычки могут вести к разным моделям поведения. Но если выбор человека в пользу более высокооплачиваемой работы или менее дорогостоящего товара — привычка, то как назвать цветовые или фасонные предпочтения на рынке одежды? Для объяснения исторического развития эта модель легковесна, а ведь автор говорит об *эволюции*, он хочет объяснить не только существование, но и *динамику институтов*.

Хорошо демонстрирует этот изъян обращение Ходжсона к эксперименту с правилами дорожного движения: «Во всех странах есть правила дорожного движения, однако предписывают они правостороннее или левостороннее движение — зависит от произвольной конвенции» (Ходжсон, 2007. С. 29). «Симуляции показывают, что сила привычки и процесс привыкания играют ключевую роль наряду с рациональным принятием решений и давлением механизмов отбора» (Ходжсон, 2008. С. 55). Эти эксперименты не подходят, поскольку свидетельствуют о причинах укоренения *несущественных* или *нейтральных* институций. Выбор, по какой стороне дороги ехать, нейтрален, лишь бы все ехали по одной. По значимости он близок к тому, какой фасон одежды носить. Здесь привычка актуальна, поскольку выбор действительно свободен и не влияет на положение актора. Между тем подавляющее большинство экономических решений не нейтральны, значительны, следовательно, не произвольны. Здесь есть шкала эффективности, придающая объективность оценке выбора и *ограничивающая свободу* субъекта. А если речь идет об исторической смене институтов, то предрасположенность населения к рентному или бизнес-поведению — не вопрос, по какой стороне дороги ехать.

Раз так, логика рушится. Ходжсон пишет: «Привычка — средство, с помощью которого социальные конвенции и институты формируются и сохраняются» (Ходжсон, 2008. С. 55), что верно лишь отчасти. При каких обстоятельствах конкретное поведение становится доминирующим, а индивидуальное решение — общепризнанным, и главное — почему? Не потому ли, что оно более *эффективно*, и в силу этого становится массовым? Да, есть случаи распространения неэффективных конвенций, но все же QWERTY-эффект — скорее исключение, чем правило⁴. Этот

⁴ Сам случай, давший название этому эффекту, — распространение технически неэффективной клавиатуры QWERTY, — объясняется рациональным поведением производителей и не нарушает закон классического эволюционизма о возобладании наиболее эффективных стратегий.

подход лишает общество эволюционного механизма — он не позволяет ответить на вопрос, почему существует экономический прогресс.

В рассуждениях Ходжсона внешние воздействия не просто оказываются неважными, но и вовсе отсутствуют. Его интересует вопрос: структуры таковы, потому что таковы индивиды, или наоборот? Но при этом «предпочтения и цели индивидов должны формироваться эндогенно» — такой «эволюционный анализ» он считает средством избежать нежизнеспособных дихотомий (Ходжсон, 2008. С. 53). Автор борется с довлеющим дихотомическим мышлением, но создает другую проблему — изолирует динамическую систему. И его рассуждения оказываются а метафизическими, поскольку не существует взаимодействия индивидов и институтов в отрыве от среды. А если стимул к изменению приходит извне? Лишь после выяснения этого обстоятельства можно ставить вопрос, начинается трансформация на микро- или на макроуровне.

Представляется, что успешные трансформационные процессы идут «снизу», а попытки реформирования «сверху» должны сопровождаться активностью со стороны индивидов. Это подтверждают не только факты (мы не знаем убедительных примеров обратного), но и теория эмерджентной эволюции, которую использует Ходжсон. Он приводит «правило Сперри»: «Любые эмерджентные причины на более высоких уровнях существуют благодаря каузальным процессам на более низком уровне» (Ходжсон, 2008. С. 57). И верно констатирует, что оно опровергает любой «методологический коллективизм и холизм» — учения, выводящие поведение индивидов из структур. Это еще один аргумент против институционализма, а с ним и «государственнических» взглядов на модернизацию⁵. Здесь и объективность: каждый индивид идет к своей цели, однако уровнем выше возникает то, чего они никогда не планировали. Но откуда возьмутся изменения на индивидуальном уровне, если рассматривать систему «индивид–структура» изолированно?

Поэтому к принципу эмерджентной эволюции следует добавить *шкалу эффективности, открытость системы и внешнее воздействие*. Этого требует и естествознание — механизм изменения биологических видов находится не в самом организме, а в сфере его взаимодействия со средой. Изменения эти означают появление новых качеств, повышающих приспособленность вида. Есть ли основания считать, что общества развиваются иначе и это положение эволюционной теории можно игнорировать в социальных науках? Ответ кажется очевидным, но что это за воздействие?

Оно открыто давно, но в силу разных причин остается на обочине экономических исследований модернизации. Во всяком случае, в указанной дискуссии о нем не упоминает ни та, ни другая сторона. Между тем, с середины XIX в. до настоящего времени в трудах большого количества ученых прозвучали прямые и косвенные указания на участие в важнейших социально-исторических трансформациях, включая гене-

⁵ Это не противоречит взглядам Ходжсона: он, как и мы, критикует и индивидуализм, и коллективизм в вопросе взаимодействия индивидов и институтов, не отрицая роль последних в современной экономике. Есть, однако, разница между проблемой динамики современной экономики и проблемой ее возникновения. По второй проблеме мнение Ходжсона мы считаем ошибочным.

зис капитализма, *дефицита ресурсов*⁶. Некоторые прямо опровергают тезисы институционалистов: анализ истории 25 развивающихся стран не обнаружил связи между формой правления и экономическими результатами. «Главной детерминантой... является не столько государственный строй, сколько наличие или отсутствие сырьевых богатств. Обделенные ими страны вне зависимости от формы правления вынуждены развивать единственный ресурс — человеческий капитал. В результате бедные ресурсами страны демонстрируют лучшие экономические результаты, чем государства с изобилием природных богатств» (Лал, 2009. С. 337).

В этой концепции опровергается и экономический институционализм. Колониальная политика европейцев — введение частной собственности — не приводила к видимым результатам в силу избытка земель и низкой плотности населения. Интересный документ — циркуляр администрации Французского Индокитая 1897 г., вводящий частную собственность на землю, «чтобы создать благоприятные условия для обработки земли, увеличивая богатство собственников, поскольку громадные площади остаются неиспользованными» (Алаев, Рыбаков, 2005. С. 402–403). Но без толку: земледельцы переходили с места на место, не обращая внимания на эти нововведения. С теми же трудностями столкнулись англичане в Индии, в малонаселенных районах, а также в Малайзии. Успех институциональной реформы напрямую зависел от плотности населения и количества ресурсов.

Это заставляет вернуться к хронологии модернизации. Существенная неправота нортианцев состоит в том, что ключевым в этом процессе они считают причинение «сверху» — от институтов к индивидам. Если бы речь шла о динамике современной экономики, это было бы верно. Но речь идет о ее появлении. Что стимулировало активность индивидов, когда современных институтов еще не было? Куда вписать Темный Век японской истории, в течение которого, пишет К. Акияма (2003. С. 443), подготавливался новый порядок, период, отмеченный не только волнениями и беспорядками, но и развитием торговли и промышленности?

Здесь становится понятно, почему неправы институционалисты, ведущие отсчет от Славной революции, а в равной мере их критики. Колониальная история показывает: если не включился мальтузианский рост, то ожидать от введения институтов шумпетерианского и смитианского роста не приходится. Для шумпетерианского роста нужны не только новые условия, но и «старые» — и устойчивый рост населения, и институты. Процесс идет путем накопления изменений, а не замещения одного другим. Нельзя исключать из модернизации ранний период (для Западной Европы — XI/XII–XV вв.), поскольку тогда происходили социальные трансформации, обеспечившие ее завершение. «Мальтузианские ограничители» в разумных пределах

⁶ Историки, социологи, экономисты, философы, культурологи Дж. Милль, К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Дюркгейм, В. Зомбарт, М.М. Ковалевский, А. Кост, О. Дункан, И. Маграс, Э. Бозеруп, С. Кузнец, А. Сови, Дж. Саймон, У. Дейрити, Д. Крауткремер, К. Джонстон, С. Дж. Скэнлен, Э. Креншо, К. Робинсон, Р. Карнейро, Э. Джоунс, Р. Аути, Дж. Сакс, А. Уорнер, Э. Бульте, Р. Дамания, Р. Дикон, М. Хамфрис, Дж. Стиглиц, Н. Шэксон, Р. Саква, М. Росс, Э. Уэйнтел, П. Луонг, П. Гурха, С. Фиш, С. Гуриев, К. Сонин, А. С. Ахизер, И.Г. Яковенко, А.П. Давыдов, А. Эткинд и др.

необходимы. Включившийся под их давлением процесс приобрел признак необратимости, как и положено развитию, довольно рано — его не остановила даже «черная смерть». Напротив, формирующиеся структуры «извлекли» из нее пользу — кратковременное удорожание рабочей силы укрепило капитализм, а не разрушило. В период же обретения колоний процесс стал тем более необратим, так как прошел фазу духовной легитимации — протестантизма.

Данная работа не претендует на полное раскрытие причин европейской модернизации. Поэтому не анализируются ни геополитический фактор — соперничество государств при отсутствии общеевропейского гегемона, ни естественно-географический — изрезанность берегов и легкость коммуникаций, ни исторический — античное правовое и идейно-философское наследие. Подчеркивается стесненность как побудитель трансформации системы отношений. Есть основания считать дефицит ресурсов традиционной аграрной экономики *необходимым, но не достаточным* условием модернизации. Разумеется, нужно выявить остальное: стесненность не приводит к успешной модернизации автоматически. Вопрос открыт, работа ведется в разных направлениях, но стоит учесть исследования на границе эволюционной биологии и математической истории. В частности, те, в которых используется понятие «ароморфоз» — «универсальное изменение в развитии социальных систем, повышающее сложность, приспособленность, интегрированность и взаимное влияние обществ» (Гринин, Коротаев, 2007. С. 19). Здесь будет задействован необходимый в оценке экономической деятельности критерий эффективности стратегии, порождающей при условии ее массового распространения соответствующую систему отношений.

* * *

Между институтами и индивидами располагается еще одна реальность — отношения. Трансформация начинается на уровне индивидов, испытывающих неудовлетворенность при предшествующей системе отношений и институтов в результате вызова среды. Они начинают выработать новые стратегии, довольно многочисленные — от известной японской культуре мабики до интенсификации (а еще миграция, военный захват, нормализация бедности, внутренний конфликт и усиление эксплуатации и др.). И вот одна из них, в силу своей эффективности прошедшая «естественный» социальный отбор, становится массовой. Она порождает новые формы отношений, которые становятся господствующими и рано или поздно приводят к появлению институтов, легитимирующих и регулирующих их на политико-правовом уровне, и формируют этику — моральную легитимацию и регулирование.

Отчасти мы сочувствуем сторонникам институциональной теории — в России ее актуальность продиктована безнадежным состоянием политических институтов. Их деградация означает впустую потраченные десятилетия и возвращение на круг «кроваво-рваных циклов догоняющей модернизации». Но это не значит, что конечной причиной срыва модернизации стала данная институциональная катастрофа.

Список литературы / References

- Аджемоглу Д., Робинсон Дж. (2016). Почему одни страны богатые, а другие бедные. М.: АСТ. [Acemoglu D., Robinson J. (2016). *Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty*. Moscow: AST. (In Russian).]
- Акияма К. (2003). История Ниппон // История Японии: Сб-к истор. произведений. М.: Евролинц. С. 381–486. [Akiyama K. (2003). The history of Nippon. In: *The history of Japan: Collection of historical works*. Moscow: Evrolints, pp. 381–486. (In Russian).]
- Алаев Л. Б., Рыбаков Р. Б. (ред.) (2005). История Востока: в 6 т., Т. 4: Восток в новое время, Кн. 2. М.: Вост. лит. [Alayev L. B., Rybakov R. B. (eds.) (2005). *The history of the East. Vol. 4: The East in the modern period, Book 2*. Moscow: Vostochnaya Literatura. (In Russian).]
- Арсланов В. В. (2016). География, институты и истоки глобального неравенства: критика концепции экономического развития Аджемоглу и Робинсона. М.: Институт экономики РАН. [Arslanov V. V. (2016). *Geography, institutions and the roots of global inequality: A critical appraisal of Acemoglu and Robinson's theory of economic development*. Moscow: Institute of Economics RAS. (In Russian).]
- Вебер М. (1990). Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс. С. 44–272. [Weber M. (1990). The protestant ethic and the spirit of capitalism. In: Weber M. *Selected works*. Moscow: Progress. pp. 44–272. (In Russian).]
- Гринин Л. Е., Коротаев А. В. (2007). Социальная макроэволюция и исторический процесс // Философия и общество. № 2. С. 19–68. [Grinin L. E., Korotaev A. V. (2007). Social macroevolution and historical process (Introduction). *Filosofiya i Obshchestvo*, Vol. 2, pp. 19–68. (In Russian).]
- Капелюшников Р. И. (2019). Contra панинституционализм: препринт. М.: Изд. дом ВШЭ. [Kapeliushnikov R. I. (2019). *Contra Pan-institutionalism*: Working paper. Moscow: HSE Publ. (In Russian).]
- Коллинз Р. (2002). Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск: Сибирский хронограф. [Collins R. (2002). *The sociology of philosophies: A global theory of intellectual change*. Novosibirsk: Sibirskiy Khronograf. (In Russian).]
- Коллинз Р. (2015). Макроистория: очерки социологии большой длительности. М.: УРСС. [Collins R. (2015). *Macrohistory: Essays in sociology of the long run*. Moscow: URSS. (In Russian).]
- Лал Д. (2009). Возвращение «невидимой руки». Актуальность классического либерализма в XXI веке. М.: Новое издательство. [Lal D. (2009). *Reviving the invisible hand: The case for classical liberalism in the twenty-first century*. Moscow: Novoye Izdatelstvo. (In Russian).]
- Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. (2011). Насилие и социальные порядки: Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Изд-во Института Гайдара. [North D., Wallis J., Weingast B. (2011). *Violence and social orders. A conceptual framework for interpreting recorded human history*. Moscow: Gaidar Institute Publ. (In Russian).]
- Харрисон Л. (2016). Евреи, конфуцианцы и протестанты: культурный капитал и конец мультикультурализма. М.: Мысль. [Harrison L. (2016). *Jews, confucians, and protestants: Cultural capital and the end of multiculturalism*. Moscow: Mysl. (In Russian).]
- Ходжсон Дж. (2007). Что такое институты? // Вопросы экономики. № 8. С. 28–48. [Hodgson G. (2007). What are institutions? *Voprosy Ekonomiki*, No. 8, pp. 28–48. (In Russian).] <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2007-8-28-48>
- Ходжсон Дж. (2008). Институты и индивиды: взаимодействие и эволюция // Вопросы экономики. № 8. С. 45–60. [Hodgson G. (2008). Institutions and individuals: Interaction and evolution. *Voprosy Ekonomiki*, No. 8, pp. 45–60. (In Russian).] <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2008-8-45-60>

- Ясин Е. (2007). Модернизация и общество // Вопросы экономики. № 5. С. 4–29. [Yasin E. (2007). Modernization and society. *Voprosy Ekonomiki*, No. 5, pp. 4–29. (In Russian).] <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2007-5-4-29>
- Arrow K. J. (1994). Methodological individualism and social knowledge. *American Economic Review*, Vol. 84, No. 2, pp. 1–9.
- Bhaskar R. (1979). *The possibility of naturalism: A philosophical critique of the contemporary human sciences*. New Jersey: Humanities Press.
- Crafts N. (2005). The First industrial revolution: Resolving the slow growth/rapid industrialization paradox. *Journal of the European Economic Association*, Vol. 3, No. 2–3, pp. 525–534. <https://doi.org/10.1162/jeea.2005.3.2-3.525>
- Deakin S. (2009). Legal origin, juridical form and industrialization in historical perspective: The case of the employment contract and the joint-stock company. *Socio-Economic Review*, Vol. 7, No. 1, pp. 35–65. <https://doi.org/10.1093/ser/mwn019>
- Lipset S. M. (1994). The social requisites of democracy revisited. *American Sociological Review*, Vol. 59, No. 1, pp. 1–22. <https://doi.org/10.2307/2096130>
- McCloskey D. N. (2016). The Great Enrichment: A humanistic and social scientific account. *Scandinavian Economic History Review*, Vol. 64, No. 1, pp. 6–18. <https://doi.org/10.1080/03585522.2016.1152744>
-

Institutions, individuals, and social relations in the modernization process

Dmitry V. Trubitsyn

Author affiliation: Transbaikalian State University (Chita, Russia).

Email: dvtrubitsyn@yandex.ru

The controversy over the role of institutions in the emergence of the modern development is analyzed in the article; essential faults in both institutionalism and its criticism are revealed. The faults in question are: The tendency to stay in the framework of economics as a purely empirical science, though the interdisciplinary character of the problem of modernization, its sociological and social-philosophical theory demands for the interdisciplinary and metatheoretical level; modernization is often considered only in its final stage (the development of modern institutions and the transition to the modern economic growth), while an analysis of social transformations on its earlier stages is necessary (the rise of cities as trade and craft centers, the expansion of urban markets, the extension of influence and independence of merchants and craftsmen); the theory is limited by the definitions of “economic growth” and “institutions” which clearly do not seem to be sufficient. It is considered to be essential to restore the term “social relations” in its Marxist meaning; in case of long-term historical transformations (such as modernization), its replacement by “institutions” is not valid (the terms “structures/relations” and “institutions” are not identical).

Keywords: modernization, economic growth, institutions, social relations.

JEL: B52, O43, O44, P16, P17.